*Коровина Елена*

**У Лёки большие щёки**

Когда Лёка только-только родился и разбудил мир своим громким возмущенным криком (как, дескать, смели меня потревожить?), врач высоко поднял его и поздравил Лёкину маму:

– Ну и богатырь у вас! Щекан!

Действительно, Лёкины щёки – персиковые, пухлые, ярко-красные – были просто изумительными!

Лёка рос, а щёчки не теряли своей очаровательной пухлости.

Никто, ну никто не мог спокойно пройти мимо Лёкиных щёк!

Так хотелось поцеловать, потрогать, ухватить, легко ущипнуть, потрепать ласково. Больше всего к щекам приставала мамочка.

– Ах вы, щёчки мои расписные! И что это малыш у меня такой щекастый? И что это он щёки свои развесил, не пройти, не проехать? – смеясь говорила мама.

А папа даже сочинил стихотворение:

У Лёки большие щёки.

И ямки на них – глубоки.

Наш Лёка – розовощёкий.

Спелые щёки у Лёки.

Вообще-то папа никогда стихов не писал, другого склада человек был. А тут – вот, нате пожалуйста! Щёки вдохновили.

Из-за щёк Лёка не умел обижаться. Только он надуется, разозленный, выпятит нижнюю губу, а щёки от обиды ещё больше станут! Стоит такой Лёка нахмуренный, губы – алым бантиком, и щёки, щёки!

Поневоле все хохотать начинают!

А Лёка сердиться перестаёт – ну стоит ли дуться, раз кругом все хохочут? Да и зачем такому хорошенькому мальчику сердиться? Кудри светлые, как у девочки, глаза – тоже светлые, как мамино вкусное какао.

– Эх, Лёка, Лёка, будешь ты у нас актёром! – говорила частенько тётя Маша, забегавшая в гости к Лёкиным родителям. – Актёры всегда такие: красивые, белокурые, розовощёкие!

Лёка тогда ещё значения слова «актёр» не понимал, но приношения тёти Машины – петушков на палочках – принимал благосклонно, авансом.

Засунув золотистого петуха или белку за щёку, Лёка становился похожим на хомяка.

– Хомячок, а с мамой поделишься? – спрашивала мама, присаживаясь на корточки перед сыном.

– На! – великодушно отзывался Лёка, протягивая леденец.

– А с папой? А с тётей Машей?

Лёка делился со всеми.

Лёка – это вообще-то Артём. Хотя, конечно, имя Лёка больше похоже на Алексея, или Александра, или даже Леонида. Но тут дело в самом Лёке: пока сын не умел говорить, «Темочка, Тема», – повторяла мама часто.

– Ёка, – повторил за ней сын. – Лёка.

Вот так все узнали, что он именно Лёка.

…Иногда к Лёке приходила невеста. Это была дочка тёти Шуры из соседней квартиры – Иришка. Она важно и неторопливо ступала крепкими, толстыми ножками в чёрных ботинках и всегда молча усаживалась на Лёкин резной стульчик с нарисованными вишнями. Жених от избытка чувств высыпал перед ней все свои игрушки, а Иришка смотрела на них синими колокольчиковыми глазами довольно равнодушно – мол, меня так просто не задобрить.

Она была младше Лёки на два года. Иришкины короткие тугие косички, такие маленькие, светленькие косички, всегда смешно торчали в разные стороны внизу пушистого затылка. Их, как и Лекины щёки, любили потрогать.

Это были их детские сокровища, которые как магнит притягивали взрослые руки.

II

Когда началась война, Лёке исполнилось пять лет.

Он скакал по квартире, размахивая саблей, целился из окна из воображаемого пулемета и не понимал, отчего мама так плачет, провожая папу на войну. Это же так интересно – воевать! – думал он.

…Бу-бу-ух! – кричала первое время Иришка довольно восторженно, когда немцы бомбили Ленинград, и не понимала, отчего мамы – её и Лёкина – мечутся по квартире (ночевали женщины теперь вдвоём, чтобы было не так страшно), спешно закутывают детей и бегут по тёмным лестницам в бомбоубежище, сырое и холодное.

Вскоре Иришка перестала так весело кричать. Все дети вообще быстро повзрослели, особенно когда такой родной, такой мирный город оказался в кольце.

Лёкина и Иришкина мама не покинули города. Их общая подруга с детьми, пытаясь выбраться по Дороге жизни – искристому льду Ладожского озера – настойчиво звала их с собой. Сомневались. Побоялись. В грузовик с Клавой и тремя её детьми попала бомба – и все ушли под лёд потревоженного озера. И Лёкина мама решила не рисковать.

– Ничего, Шурочка, проживём как-нибудь. Много людей осталось, будем помогать друг другу, – твердо сквозь слёзы шептала Лёкина мама.

Много осталось людей в Ленинграде. Слишком много. А чем больше людей – тем больше нужно для них еды…

Оттого и хоронили на Пискаревском кладбище целыми школами и детскими садами.

Лёка быстро понял, что к чему, то есть что хлеба просить не надо, если не хочешь огорчить маму, а вот Иришка долго, нудно и жалобно плакала, выпрашивая что-нибудь покушать.

Много раз они вместе с Лёкой обшаривали буфет, где, казалось, ещё остался хлебный дух, зачем-то рылись в пустой кладовке, гремели пустыми кастрюлями. Жила волшебная надежда – а вдруг? Вдруг что-нибудь? Нашла же Аня Мартынова с первого этажа под диваном целый и невредимый грецкий орех, когда диван разобрали на растопку.

Она скорлупу от этого ореха показывала Лёке и Иришке – мол, надо верить, надо искать.

Они верили и искали. Но ничего не находили.

– Скоро это закончится, маленький, потерпи, – уговаривала мама Лёку, деля на крохотные кусочки хлеб, полученный по карточкам и уже не пахнувший хлебом.

Но это продлилось долгих-долгих 900 дней и 900 ночей.

Иногда приходила тётя Маша, приносила в узелке мяту или зверобой – заваривать чай; у неё дома хранились запасы сушёных лекарственных трав. Добрая соседка как-то поделилась с Лёкой и Иришкой осколками жжёного сахара – она его наковыряла в земле у сгоревших Бадаевских складов.

Тётя Шура и Лёкина мама по очереди ходили за водой на Неву и варили жидкий тёмный суп из столярного клея и кусочков кожаной сумки. А как-то раз тётя Маша принесла детям скрюченную, кривую (но настоящую!) – морковку. У Иришки к тому времени выпали почти все молочные зубы – от голода, у Лёки зубы сильно шатались, но пока держались в распухших деснах.

Морковку разрезали на кусочки и давали сосать детям каждый день, на ночь. Ночи были особенно тяжелы.

И больше никто не говорил: «У Лёки большие щёки». Лёкины щёки впали, а лицо заострилось и побледнело.

А потом Иришка с Лёкой располнели на глазах – лица стали круглыми и отёчными.

Лёка, как-то проснувшись утром, увидел перед собой странную завесу темноты с еле пробивавшейся полосой света.

– Мама, мама, что это? Ночь, что ли? Почему темно?

Мама прикоснулась к его глазам своими пальцами – и брызнул свет.

– Мама, что это? – Лёка очень испугался.

– Ручки подними, вот так подержи глазки… Чтобы не закрывались, – у мамы дрожал голос, дрожали распухшие обветренные руки.

Это от голода припухали веки и закрывали глаза всей своей массой.

Смутно Лёка помнил, как мама, укутав детей с ног до головы, тащила их в звенящую колкую метель, как Иришка плакала, отказываясь идти на негнущихся, отёчных ногах, просилась на ручки или в саночки.

Лёкина мама уговаривала её, упрашивала, умоляла идти, тащила за рукав шубы, но в санки не сажала – во-первых, оттого, что нагружены они были узлами и баулами, а во-вторых, оттого, что суеверно боялась посадить туда живого ребёнка – всего два дня назад она отвезла на этих санках на кладбище тётю Шуру. Вообще саночки были лёгкие, длинные, удобные, и у мамы их часто одалживали соседи, чтобы отвозить умерших родственников.

Теперь же Лёкина мама с детьми перебиралась в квартиру к тёте Маше – вдвоём ведь не так страшно в городе, который стал ловушкой.

Печку давно топили книгами.

Иришка уже не просила есть и всё время мерзла, даже когда на ощупь была горячей. Лёка, чтобы развеселить девочку, стал распухшими в суставах пальцами выводить угольком на страницах книг каракули. Стал пробовать рисовать. Нарисовал домик, потом кошку, потом яблоко.

Увидев яблоко, Иришка словно очнулась – затрясла большой головой на тонкой шее и потребовала: «Дай!»

Ох, и досталось же тогда Лёке за нарисованное яблоко! Да и не только за яблоко. Мама запретила рисовать в книгах.

– Книги – это книги, а не тетрадки. Надо относиться к ним с уважением, – отчитывала сына мама.

– Мы же их в печке жжём, – возразил Лёка.

– Это – другое, – отрезала мама.

С ней не поспоришь. Даже в такие страшные дни мама пыталась с ним заниматься – учить буквы, например. Ещё мама читала Лёке и Иришке стихи, но только те, в которых не было ничего про еду.

Однажды утром Иришка не проснулась. Дома никого из взрослых не было, и Лёка долго будил её, но Ира никак не открывала опухшие глазки.

Пришла мама с водой, хотела сварить суп – ещё оставалось немножко клейстера и крахмала для супа.

– Мама, мамочка! Надо Иришке супа дать – она не хочет вставать, она совсем заболела, мам! – бросился к ней Лёка.

Лёкина мама стояла усталая, в больших валенках, вся обмотанная тряпьём поверх полушубка, и, сняв заледенелые варежки, дышала на красные отёчные руки. Она немного согрелась и, подойдя к Иришке, стала зачем-то надевать на неё шубу, повязывать голову пуховым платком.

Иришка так и не проснулась – головка её свесилась на грудь, и на лицо упали светлые пряди – раньше из них плели смешные косички.

Мама вынесла Иришку на улицу. На санки.

Лёка сразу всё понял.

– Мам, Иришка спит, потому что умерла? – спросил он, когда мама вернулась за забытыми рукавицами.

– Да, сыночек.

– И ты её увезешь?

– Да, Лёка.

– Я с тобой пойду!

– Не надо, Лёка, милый, – мама погладила его по голове. – Ты лучше иди попрощайся с ней.

Иришка лежала в санках укутанная, и цвет лица у неё был какой-то ненастоящий – голубой.

Внизу они столкнулись с тётей Машей. Она тоже посмотрела на санки. С минуту женщины молчали. Тётя Маша смотрела в сторону.

– Ох, ну зачем ты всё на неё напялила! Ей же всё равно, а Лёке бы шубёнка осталась! – неожиданно отругала маму тётя Маша и забрала из её рук верёвку от санок.

– Идите домой! Сама отвезу! – Мама с Лёкой её послушались – попробуй не послушаться такую строгую тётю Машу. Лёка помнил, что мама только просила тётю Машу, чтобы Иришку похоронили не в общей могиле, а рядом с мамой, и предлагала для этого отдать могильщикам хлебные карточки Иришки.

– …Ничего, Лёка, выдержим. Победит наш папа фашистов, весна наступит, ручейки побегут, птички запоют. И будет всё как раньше. Папа вернётся с войны, – шептала мама, лежа рядом с Лёкой, обняв его одной рукой.

А Лёке не верилось, что всё будет как прежде, и казалось, что вся еда осталась в другом, мирном Ленинграде, где нет сигналов воздушной тревоги и надписей на щитах: «Граждане! Во время артобстрела эта сторона улицы наиболее опасна!», где не отвозят людей на саночках на кладбище. В этот мирный город ушли, взявшись за руки, весёлая Иришка и пухлощёкий Лёка.

И другой, новый, голодный Лёка никак не мог отыскать эту заветную тропинку к прежнему сытому Ленинграду.

Лёкина мама верила в счастливый исход войны и жила этой верой.

Иногда Лёка сквозь тяжёлую дремоту (голодный сон – самый тяжёлый, отупляющий, словно отнимающий последние силы) слышал, как мама, наклонившись над ним, тихо шептала-причитала:

– Только живи, Лёка, милый. Дыши, живи! Потерпи, мальчик мой сладкий… Папа вернется с войны… Тепло будет… Сытно.

И в полудрёме, под монотонный стук метронома (радио никогда не выключали) Лёка представлял, как война закончилась, все фашисты убиты, и все-все папы возвращаются к себе домой весёлые, красивые. И Лёка ещё подумал: вот вернётся Иришкин папа с войны, а Иришки-то нет, и тёти Шуры нет. Что он будет делать тогда?

Лёкина мама слегла в начале марта – всё пыталась скинуть непослушные закутанные ноги с кровати и никак не могла. Нет, один раз у неё это получилось. Стала вставать на ноги и упала на пол.

Лёка пытался маму поднять, но так и не смог – пришлось ждать возвращения тёти Маши.

Тётя Маша почти всегда что-нибудь приносила из еды. Хоть капельку, хоть чуть-чуть, но приносила.

На этот раз она принесла немного хлеба из опилок.

Тётя Маша разделила сухие, крошащиеся корочки, дала Лёке; а Лёкина мама стала отказываться.

– Не буду, Марья. Всё равно меня это уже не спасёт. Вам с Лёкой больше достанется. Сбереги его, ради Бога, – слабо шептала мама, а тётя Маша ругалась:

– А тебя не спрашивают! Рот открой! И вот тебе хлеб!

– Боже мой, только Лёка пусть живёт… Господи, только не оставь Лёку, – шелестели мамины губы.

Тётя Маша расслышала и покачала головой.

– В этом аду Бога нет. Его вообще нет.

– Именно в этом аду – Бог есть, – тихо отвечала Лёкина мама, а когда тётя Маша вновь отлучилась из дома, подозвала к себе сына и вытащила из своего рта длинный кусок корки.

– Ешь, Лёка, ешь, милый. Силы тебе нужны, – и, несмотря на его слабые протесты, запихивала Лёке корку.

III

Прошло уже много лет, а Лёка, вернее, отец Артёмий, ясно помнит те продуваемые, просветлевшие от мартовского холодного солнца улочки, по которым они с тётей Машей везли маму на санках.

Лёка всё время оглядывался на санки и поправлял мужскую шапку-ушанку на маминой голове. Ему казалось, что маме холодно.

В опустевшей мёрзлой квартире Лёка заплакал. Впервые за всю блокаду. А потом тётя Маша навалила на него кучу одежды и тряпья – так, что тяжело стало дышать, но Лёка всё равно никак не мог согреться.

– Тетя Маша, а я тоже когда умру – то усну, да?

– Да, Лёка. Спи.

– И вы меня тоже на саночках отвезёте?

– Спи, Лёка, не думай ни о чём…

– А мёртвые всегда в земле спят, никогда не просыпаются?

– Не знаю, Лёка… Спи!

…И это действительно было пробуждение из мёртвых – настоящим первым, главным чудом, ознаменовавшим начало всех других чудес, – когда Лёку на руках вынесли из мёртвого дома чужие люди, и Лёкино сердце непонятно каким образом ещё выстукивало мгновения жизни. Лёку отнесли в какой-то детский дом или больницу, он не знал. Запомнилась одна большая комната, в которой Лёка долго, целую вечность лежал, – сдвинутые кровати с такими же, как он, детьми-дистрофиками, окна с опущенными светомаскировочными шторами и время от времени – грохот снарядов где-то совсем рядом, при прицельном обстреле. Он теперь уже не вставал, всё время тихо лежал, просыпаясь, только когда его губ касалась ложечка с мучным жидким супом. Однажды Лёка разлепил тяжёлые веки и увидел, как тётя в белом халате держит маленькое зеркальце у рта мальчика или девочки, лежащей на соседней кровати. Лёке это так и врезалось в память – зачем в такое время в зеркало смотреться? Потом этого ребёнка унесли и на его место положили другого. Лёка запомнил унесённого – волосы у него были рыжие, солнечные. Вскоре Лека понял, что уносят умерших. А потом неожиданно кормить стали всё чаще и чаще, и однажды выдали всем детям по ломтику настоящего, пахнущего хлебом ХЛЕБА!

Лёку выходили, спасли, и блокада была прорвана, а потом была настоящая еда, которую можно было есть, и Победа в разноцветных огнях салюта, и приход с войны закопчённого, постаревшего Лёкиного отца – без ноги. Это отец отыскал сына в детдоме, запрыгнул на костылях в столовую, где Лёка золотушными прозрачными руками ел картошку в мундире, прямо с очистками, и, улыбнувшись, сказал: «Ну, здравствуй, Лёка – большие щёки!» Правда, у Лёки щёк теперь и в помине не было, одни острые скулы.

…Отец Артёмий всегда называет хлеб – хлебушком.

– Купили хлебушка?

– Тебе белый хлебушек или нет?

– Ну, доедай хлебушек, Танечка.

Отец Артёмий никогда не называет хлеб чёрным. Для него есть белый хлеб, а есть – не белый, другой: ржаной, с отрубями или «Бородинский». Ещё отцу Артёмию всегда холодно. Даже жарким летом. Его жена, матушка Ольга, всегда сама шьёт ему тёплые подрясники, на подкладке.

Отец Артёмий довольно часто, ну раз в неделю точно, выбирается на Пискарёвское кладбище, чтобы отслужить панихиду.

Где-то здесь (он точно места не помнит) лежит его мама – 25-летняя молодая мама, здесь лежат тётя Шура с Иришкой, тётя Маша и тот рыжеволосый ребёнок, из блокадной больницы, здесь много, много народа лежит. Много детей – нераскрывшихся маленьких жизней.

А в храм на канон отец Артёмий всегда приносит свежие ароматные белые булочки с изюмом. Для мамы. Лёкина мама их очень любила.

У отца Артёмия четверо детей, четверо внуков и три внучки. И когда отец Артёмий со всей своей семьей, со всеми внуками и внучками приезжает в храм, то кажется странным, что ничего этого могло не быть: не было бы этих людей, если б тогда, много лет назад, в остывшем блокадном Ленинграде мамина молитва не сохранила маленького сына по имени Лёка.

Отец Артёмий будет помнить об этом спасении до конца своей земной жизни. И благодарить Бога. И благодарить маму. Мама! Милая, любимая, родная мама, спасибо тебе!

Самая старшая внучка, Танечка, как-то ко Дню Победы написала дедушке стихотворение:

На Пискаревском в этот день – народу…

Рядами толпы взрослых и детей.

И всё-таки усопших очень много,

Гораздо больше, чем живых людей.

Война закончилась… И это нам в наследство:

Кресты безмолвные – страна могил.

И в голоде измученное детство,

И шёпот: «Хлеба!» – из последних сил.

Встал на колени парень молодой,

Лицо уткнул в могильный рыхлый холм.

Он выжил. Он не умер. Он живой…

«Ты слышишь, мама? Я твой сын Артём!»

Дрожащими руками положил

Он на могилу пышную буханку,

И на кресте листочек прикрепил

И зарыдал – отчаянно и жалко.

А на бумаге – через много лет –

Слова такие, что острей кинжала:

«Родная мама! Возвращаю хлеб,

Который ты всегда мне отдавала».